

ЖИЗНЬ ВОПРОКИ ЗЛУ

Манукян Анжелика



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Анжелика Манукян

Жизнь вопреки злу

<https://litres.ru/74376699>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Я был двадцатичетырёхлетним глупцом со сломанным, мягким позвоночником, безропотно подчинявшимся людоедскому режиму».

Герман Егер — сын отъявленного нациста. С детства его готовят к служению Третьему рейху: Гитлерюгенд, военная карьера, «чистота крови». Но мягкое сердце Германа не принимает жестокости. Спасение приходит в Берлинском университете — там он встречается Анжелику, армянскую девушку с волосами цвета базилика и брошью-незабудкой. Их любовь расцветает накануне войны, чтобы быть раздавленной лагерной машиной смерти.

Герман — не герой. Он не борется с режимом, не спасает сотни. Он всего лишь писарь, который «случайно» роняет хлеб в грязь и подделывает документы, чтобы спасти одну-единственную жизнь. Ту, что стала для него всем. Вопреки злу, вопреки отцу, вопреки самой смерти.

Исповедальный роман о взрослении, нацизме, вере и памяти. О том, что даже когда жить незачем — умирать страшно. И что настоящая победа — не убить врага, а остаться человеком.

Содержание

Предисловие	4
Глава 1. Дом, построенный на пепле	6
Глава 2. Отец заметь меня	9
Г	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Анжелика Манукян

Жизнь вопреки злу

Предисловие

— Дедуль, дедуль, Расскажи, как ты встретил бабушку! — наперебой восклицали внуки, собравшись за круглым, потемневшим от времени столом.

— Ох... — пожилой мужчина тяжело вздохнул. — Это было в далёком сорок четвёртом. Я встретил её на железнодорожной станции, поезда тогда шли один за другим...

— Бабуль, а правда, что вы с дедушкой встретились у поезда в сорок четвёртом? — обернулся к кухне старший внук.

— Герман, ты снова всё перепутал, — из дверей показалась пожилая дама с аккуратно уложенными седыми волосами. Она мягко улыбнулась. — Ребята, это случилось в 1954 году, в Португалии. В госпитале, где я работала.

— Моя память насмехается надо мной, Карла! — усмехнулся старик, пряча глаза в чашке с чаем.

«Моя память смеётся надо мной... Стереть бы её. Стереть совсем, с концами, чтобы до самой смерти — только тишина. Но я-то помню всё слишком отчётливо.

*Это был 1944 год. По глупости, из-за юношеской слепоты и под давлением отца я оказался в рядах Третьего рейха.

Благодаря былым заслугам отца на прежней службе меня не погнали в окопы Восточного фронта. Мне дали звание унтершарфюрера СС и место в канцелярии одного из тех лагерей, которые теперь знает весь мир. Тогда мы послушно называли их «трудовыми». Моя война заключалась в заполнении бесчисленных формуляров, бланков и списков. В конце войны они тоннами горели во всех каминах комендатуры — и в тех самых печах, которые до этого поглотили полтора миллиона человеческих жизней. *

Я был двадцатичетырёхлетним глупцом со сломанным, мягким позвоночником, безропотно подчинявшимся людоедскому режиму. Тогда меня малодушно радовала мысль, что из своего кабинета я редко вижу замученных работой и голодом заключённых. Хотя слово «радовала» — преступление. Его вообще нельзя использовать, когда вспоминаешь ту войну. Но бумажная рутина избавляла меня от необходимости лично бить, пытать и казнить изнеможённых людей.

Каждый день из репродукторов нам кричали о гордости за дело наших отцов, о священной необходимости очистить немецкую землю от «третьего сорта». Но по вечерам, возвращаясь в барак, я часто «случайно» ронял кусок хлеба в грязь, смешанную с угольной копотью. Ронял, не глядя назад, и этой жалкой крохой пытался утихомирить свою совесть, которая заживо разрывала меня изнутри...»

Глава 1. Дом, построенный на пепле

Свою историю я помню с одного летнего происшествия. Мне было семь лет.

Каждое лето мы с семьёй проводили в усадьбе в Ростове, у Балтийского моря. Наш дом стоял неподалёку от пляжа, который обрамлял густой лес.

В один прохладный вечер на опушке, прямо у двора, я заметил крошечную норку. Подойдя ближе, увидел крольчонка — совсем малого, беспомощного. Я прижал его к груди. Сквозь шерстяной свитер я чувствовал, как бешено стучит его маленькое сердце. Мокрый нос утыкался мне в ладонь. Мне хотелось укрыть этого малыша от всего огромного мира.

Понимая, что один не справлюсь, я побежал в усадьбу искать маму.

Я застал её в спальне — она укладывала мою младшую сестру. Мама жестом показала: тихо, подожди в гостиной. Я ждал. Вскоре она вышла.

— Милый, что случилось? — спросила она, сразу прочитав всё по моему лицу.

Вместо слов я бережно вынул из-за пазухи крольчонка.

— Герман... — мама вздохнула. — Да он же совсем ма-

лютка.

Она взяла его в свои тёплые руки.

— Мама, он замёрз! Он был один, возле норы...

— Сынок, мы отогреем его и накормим. Но оставить не сможем — ты знаешь, отец против животных в доме.

Я грустно кивнул.

Мы прошли на кухню. Няня нагрела молока. Крольчонок съел лишь ложку. Мы завернули его в старую тряпку и вернулись к норе. К нашему счастью, мать-крольчиха вернулась и искала своего детёныша. Мы с мамой, обнявшись, сидели на корточках и заворожённо смотрели, как звери воссоединяются.

— Гертруда!

Этот резкий голос прозвучал как гром. Мы забыли о скором приходе отца. Поспешно вставая, мы попытались закрыть собой беззащитных зверей.

— Герр Генрих, мы совсем забылись. Я сейчас распоряжусь об ужине, — мама попыталась сгладить.

— Стой. Что это вы здесь делали? — отец медленно приближался.

Я чувствовал, как мамина рука сдавливает мою ладонь до боли. Мне переданся её страх.

— Дорогой, Герман нашёл кроличью нору, мы просто смотрели...

— Иди в дом, Гертруда. Подготовь ужин.

Мама медленно отпустила мою руку и потянула меня за

собой, но отец перехватил меня за плечо.

— Иди, Гертруда.

В её глазах я увидел настоящий ужас. В его — холодную улыбку.

— Герман, ты молодец, что нашёл нору, — он положил тяжёлую ладонь мне на голову. — Крольчиха худа, а её отпрыск болен. Мы сделаем им одолжение — подадим их завтра на ужин. Прекратим их бессмысленную жизнь.

— Папа?! — у меня перехватило дыхание.

Раздались два быстрых, оглушающих выстрела.

Отец опустил дымящееся ружьё и, даже не взглянув на окровавленную траву, сжал моё плечо, заставляя смотреть вперёд.

— Не смей лить слёзы из-за сорняков природы, Герман. Мужчина не знает жалости к слабым. Кровь и честь¹. Запомни это.

Я забыл, как они выглядели в тот момент. Но долго ещё в руках я ощущал то самое тёплое покалывание — будто живой малыш всё ещё оставался со мной. Я помню только, как мама дома крепко прижала меня перед сном, и я бесшумно плакал в её объятиях.

¹ «*Blut und Ehre*» (нем. «Кровь и Честь») — официальный девиз Гитлерюгенда

Глава 2. Отец заметь меня

1928 год. Лейпциг, Свободное государство Саксония, Германия.

В этом году я пошёл в школу. Двумя годами раньше моего старшего брата Карла отправили в Веймар — в Гитлерюгенд. Отец не думал ни минуты. Для Карла сразу открылись двери партийного аппарата. Он с гордостью принял подарок отца — форменный нож с клинком, на котором было выгравировано: «*Blut und Ehre*». К ножу прилагалась чёрная портупея. Карл часто присылал домой фотографии: он в традиционной форме, с портупеей и блестящим клинком.

Я видел, как отец смотрел на эти снимки. В его глазах были гордость, надменность и взгляд, словно кричащий: его план о расово чистом потомстве сбывается. Брат был законченным нацистом — я понял это позже. А пока я оставался ребёнком, отчаянно пытающимся стать тем, на кого отец будет смотреть так же.

В школе я всегда держался в стороне. Я не думал, что кто-то захочет стать моим другом. Но в первый же день ко мне подскочил сорванец, едва не сломавший скамью.

— Здравствуй! Я подсяду, если свободно?

Это был самый светлый из всех немецких мальчишек, каких я видел. Он широко улыбнулся и протянул руку.

— Меня зовут Герман Егер.

— Раймунд Вольф.

Первые занятия были скучными — мы с Раймундом уже знали счёт и письмо. На переменах мы разговаривали. Я узнал, что семья Вольфов разбогатела на рыбной промышленности. Отец Раймунда, Ирвин, был строг, но терпеть не мог прислугу, так что все домашние дела лежали на матери и шестерых детях. Раймунд был вторым из них. *«Их так много»*, — подумал я. Рей часто уезжал домой на выходные, набив карманы сладостями для младших.

Позже его мать получит от фюрера золотой почётный крест немецкой матери — за рождение восьмерых детей. Она носила его не снимая. Мою маму тоже наградили, но бронзовым — за четверых. Для неё это было скорее бременем, чем гордостью.

Три года пролетели незаметно. В школе нас готовили к национальному успеху. Спасением стали две вещи. Первая — Рей. Мы с ним сильно сблизились: спали в одной комнате, бегали с мячом, а потом, уставшие, падали в траву и подолгу смотрели на звёзды. Вторая — письма от мамы. Она была очень нежной.

Мне исполнилось десять лет, когда отец впервые заговорил о моём вступлении в Гитлерюгенд. Это был не разговор — приказ.

— Герман, ты достаточно взрослый. «Карл в твоём возрасте уже носил форму», — сказал он за ужином, даже не поднимая глаз от тарелки. — Я договорился с гауляйтером.

В следующем месяце ты начнёшь подготовку.

Мама молчала. Она всегда молчала за ужином, когда отец говорил о политике. Я посмотрел на неё, ища поддержки, но она лишь чуть заметно покачала головой — не перечь.

Форма оказалась мне мала. Чёрные брюки, коричневая рубашка, повязка со свастикой на левом рукаве. Я стоял перед зеркалом и не узнавал себя. Рей, которому тоже вшили форму, наоборот, светился.

— Выглядишь как настоящий боец, Герман! — он хлопнул меня по плечу.

Я не ответил. Я смотрел на свастику и думал о крольчонке.

Первые сборы Гитлерюгенда проходили в большом спортивном зале. Нас учили маршировать, бросать гранаты (деревянные муляжи), стрелять из мелкокалиберных винтовок. Инструкторы — ветераны с грубыми голосами и шрамами на лицах — кричали на нас, если мы ошибались. Рей схватывал всё на лету. Я же постоянно сбивался с шага. Однажды инструктор, унтер-офицер с выбитым передним зубом, оттащил меня в сторону и прошипел:

— Ты что, тряпка, Егер? Твой брат — лучший в своём отделении. А ты позоришь фамилию. Смотри на него и учись.

В лагере была своя жестокая иерархия. «Старики», те, кто прибыл сюда годом или двумя раньше, имели безраздельную власть над «новичками». Мы должны были беспрекословно выполнять любые их приказы — от чистки их сапог до...

более странных поручений.

Однажды ночью нас разбудили крики и заставили построиться на плацу. Был сильный дождь, и холодная вода заливалась за воротники наших рубашек. Староста, парень лет восемнадцати с ледяными глазами, ходил вдоль шеренги и проверял, как мы стоим. Он мог остановиться перед кем-то из нас и просто смотреть, пока у того не начинали дрожать колени. Это была проверка на прочность. Проверка на выдержку, на умение проглотить унижение и не сломаться. И каждый раз я думал: как далеко мы готовы зайти, чтобы доказать, что мы — не слабаки?

*

Я смотрел. Карл, который иногда приезжал на выходные, ходил по дому в своей чёрной форме СС, и отец сиял. Ко мне же он обращался лишь когда нужно было передать соль или налить воду. Я стал замечать, что всё чаще прячусь в своей комнате с книжкой. Мама находила меня там и садилась рядом, молча глядя по голове. Она ничего не говорила, но я чувствовал, что она понимает.

В классах мы не только учили тактику и стрельбу. Были и особые лекции — о расовой гигиене, о том, как определять «неполноценных» по форме черепа и цвету глаз. Нас учили не замечать боли других и быть готовыми выполнить любой приказ. Учитель, длинный и худой, показывал нам схемы черепов, а я смотрел на них и думал о тех, кого мы должны будем «очистить». Я переводил взгляд на Эрика, друга Рай-

мунда, у которого отец был еврей. Всякий раз я представлял, что в любой момент кто-то мог узнать правду, и тогда Эрика просто сотрут из нашей жизни.

Всё это начало казаться мне страшной игрой, где ставка — человеческие судьбы.

В школе начали появляться новые учителя — молодые, в партийных значках. Однажды на уроке «расовой гигиены» нам показывали таблицы с черепами и измеряли носы. Учитель, длинный и худой, как жердь, вызвал меня к доске:

— Егер, скажи классу, почему чистота арийской крови — это наше будущее?

Я замер. Я знал правильный ответ — нас учили ему каждый день. Но я смотрел на таблицы с черепами и думал о своём друге Эрике, у которого отец был еврей. Эрик сидел за последней партой и боялся поднять глаза.

— Потому что... — я запнулся, — потому что так сказал фюрер.

Учитель довольно кивнул. Эрик не пришёл в школу на следующий день. А через неделю я узнал, что его семья «переехала». Рай шепнул мне на перемене:

— Их выслали. Не вздумай говорить об этом вслух.

Я не говорил. Но в ту ночь я долго не мог уснуть. Я слышал, как Рей ровно дышал на соседней кровати, и впервые подумал: а что, если я — трус? Не потому, что боюсь отца, а потому, что молчу.

Мы с Рейэм остались в школе и на летние каникулы —

отец отправил меня на «укрепление характера» в летний лагерь Гитлерюгенда. Там были костры, песни и ночные маршброски. На третью ночь нас построили на плацу и приказали петь песню Хорста Весселя. Я открывал рот, но звука не было. Рей, стоявший рядом, толкнул меня локтем:

— Пой, дурак! Они заметят!

Я запел. Фальшиво, тихо, но запел. И в тот момент я ненавидел себя сильнее, чем когда-либо. Я ненавидел свой голос, который послушно выводил слова о том, как «знамёна высоко» и как «штурмовики идут рядами». Я смотрел на тлеющие угли костра и чувствовал, что сгораю сам — по кусочку, по букве, по ноте.

На следующий год, когда мне исполнилось четырнадцать, в школе устроили показ фильма «Триумф воли». Нас построили в актовом зале, и с первой же минуты огромный экран заполнили знамёна, толпы, выкрикивающие «Зиг хайль!». Я сидел между Раймундом и другими ребятами и чувствовал, как зал вибрирует от восторга. Кто-то плакал, кто-то сжимал кулаки. Рей смотрел на экран с открытым ртом. А я не мог отвести глаз от лица режиссёра Лени Рифеншталь, которая стояла на съёмочной площадке — я узнал её имя из газет. Она была красивой, сильной, и её фильм был как гимн, как молитва новой Германии. Но внутри меня росла тошнота. Каждый кадр, каждый взгляд фюрера, каждый синхронный шаг — всё это давило на грудь. Я смотрел на ребят вокруг и видел, как они превращаются в одну се-

рую массу. И я был среди них. После фильма учитель спросил, что мы чувствуем. Рей вскочил первым: «Гордость! Силу! Мы — великая нация!» Я молчал. Учитель вызвал меня. «Егер, а ты?» Я поднялся, чувствуя, как кровь приливает к лицу. «Я... я чувствую страх», — вырвалось у меня. Зал замер. Рей дёрнул меня за рукав. Учитель побледнел, но потом неожиданно усмехнулся: «Страх перед врагами? Это правильно. Мы должны бояться их, чтобы уничтожить». Я кивнул, не веря своим словам. Но я боялся не врагов. Я боялся нас. Ночью в общежитии Рей спросил шёпотом: «Ты что, правда испугался?» Я долго молчал, глядя в потолок. «Я испугался, что перестану бояться». Рей не понял, но больше не спрашивал. Он сунул мне под одеяло конфету — мятную, с кислинкой. Я лежал и думал о той женщине с кинокамерой. Она создала монстра. И её монстр был прекрасен. Это было самое страшное.

Мы с Раймундом держались друг за друга. В этом аду он оставался моим единственным якорем, моим островком нормальной жизни. Каждый вечер, перед тем как провалиться в тяжелый сон, мы перешёптывались. Я рассказывал ему о книгах, которые мне удавалось прятать, или о маминых письмах.

— Ради чего всё это, Рей? — спросил я как-то. — Ради Германии, — ответил он. — Но разве для того, чтобы сделать Германию великой, нужно заставлять детей замерзать на плацу? — Это закаляет, — Рей на секунду задумался, а

потом повернулся ко мне. — Ты слишком много думаешь, Герман. Это опасно. — Что опасно? — Сомневаться. Отец говорит, что сомневаются только враги Рейха. — А ты никогда не сомневаешься? Он промолчал. А потом сказал: — Я боюсь не за себя. Я боюсь, что однажды тебя исключат... или того хуже. И тогда я останусь совсем один. — Поэтому я никуда не денусь, — сказал я, хотя в тот момент почувствовал холод в груди. Я боялся не за себя, а за него. В этом лагере слабых не жалели, а Рей... он был сильным, но его доброта была его главной уязвимостью.

В пятнадцать лет я уже умел отличать «правильные» ответы от настоящих мыслей. На уроках я говорил одно, в дневнике, который никто не читал, — другое. Отец не замечал. Он был занят карьерой и Карлом. Брат к тому времени получил звание в СС и приезжал домой только с офицерами, которых отец называл «наше будущее». Они пили шнапс, курили и обсуждали, что восточные территории нужно «освободить от недочеловеков».

Я сидел в своей комнате и слушал их смех. Иногда до меня доносились обрывки фраз: «...этих евреев...», «...славяне — это скот...», «...война очистит...». Я затыкал уши подушкой, но слова всё равно проникали внутрь. И я думал: если я вырасту и стану одним из них, лучше мне не вырасти вовсе.

Рей заметил, что я изменился. Мы уже не спали в одной комнате — нас расселили по разным корпусам. Он часто за-

ходил ко мне по вечерам, и мы сидели на подоконнике, глядя на лес за оградой.

— Ты стал каким-то... чужим, — сказал он однажды.

— Я таким был всегда, — ответил я.

— Нет, ты просто молчал. А теперь ты смотришь на всё так, будто тебя здесь нет.

Я не стал спорить. Он был прав. Но объяснить ему, почему я смотрю на мир как на кино, я не мог. Или не хотел. Боялся, что, если скажу вслух, стена рухнет и меня убьют.

Близился день отъезда в новую школу. За несколько дней до поступления мы с мамой уехали в поместье в Росток. На море бушевала непогода. Мама стояла у берега, морской бриз развивал её длинные волосы. В ту минуту она казалась по-настоящему свободной. Я встал по колени в холодную балтийскую воду и закричал: «Мы свободны! От отца, брата, Германии и фюрера!». Но грянул шторм, и нам пришлось уйти. Я дождался первых капель дождя — они смыли слёзы моей слабости.

«Почему в мире должны быть войны?» — спросил я у моря. Мама нежно обняла меня со спины и положила голову мне на лопатки.

— Прости меня, сын, — тихо сказала она.

Сентябрь 1931 года.

В день отъезда отец не поехал меня провожать. Рядом была только мама — моя единственная опора. Она отправила нас на автомобиле. Мы прибыли к замку, который стоял сре-

ди густых лесов на возвышенности. Огромный, готический — от него веяло силой и жёсткой дисциплиной. Нас встретил гауляйтер Зольц. Он был пугающе похож на отца.

— Фрау Егер, я рад вас видеть. Вы подарили Германии троих сыновей-солдат.

Он говорил о нас как о вещах, принадлежащих Рейху.

С того дня началась моя юность, ушедшая сквозь пальцы. Я был робок, но благодаря Раю прошёл этот путь. Он встретил меня в комнате сразу после того, как я распрощался с матерью.

— Тоже переживаешь? — спросил высокий блондин.

— Да.

— Я приехал чуть раньше. «Так что с тебя бельгийский шоколад!» — он протянул руку. Его небесно-голубые глаза искрились, лицо расплылось в улыбке. Я давно не видел столь доброго выражения.

— Полегче, боец! Не то оторвёшь мне руку, — мы рассмеялись и принялись раскладывать вещи.

В комнате нас было четверо. Большое окно выходило на лес. Казалось, там, за оградой школы, начинался другой мир. Каждое утро мы вставали спозаранку: зарядка, пробежка, душ, занятия. Некоторые предметы почти не отличались от обычной школы. Но история и «достижения Германии» постепенно менялись. Нам внушали гордость за великих немцев, учили прислушиваться к старшим, которые знают правильный путь. В конце каждого урока нас спрашивали: «Всё

поняли?», и мы громко отвечали: «Да, герр учитель!».

Сначала я не задумывался. Я говорил, когда надо, молчал, когда надо. Делал всё, чтобы не получить наказания. Письмо отцу было бы хуже смерти. Я старался быть песчинкой на пляже — не создавать ни шума, ни отблеска. Мне казалось, если я подниму голову, мой бог услышит выстрел в небе и увидит падающую птицу — и она пострадает из-за меня.

Эти моменты замечал Рей. Ночью, когда мы уже лежали в кроватях, он шептал:

— Спишь? — и, видя, что я притворяюсь, салютовал мне в шутку. Мы беззвучно смеялись. Иногда он кидал мне в постель конфету. Я не ел их, но в эти мгновения переставал ощущать ту пустоту в сердце, которая душила меня, словно ремень, которым порол меня отец.

Как парадоксально: мне хотелось добиться чего-то, чтобы отец гордился мной, как братом. Но даже моё послушание выводило его из себя. Он не отправлял мне письмом. Каждый месяц я получал посылки от матери: сладости, мыло, носки, бельё — и большое письмо, где она писала, как любит и скучает. Иногда несколько строк о сестре. Я старался не вчитываться в её письма — каждое слово вызывало боль в груди. Я прятал их под одежду в шкафу, наглухо. Иногда я радовался, когда долго не было вестей. Так было проще забыть, что за стенами у меня есть семья и отец.

Шли годы. Я вырос из рубашек, которые мама присылала в посылках. В шестнадцать лет меня перевели в стар-

шую группу Гитлерюгенда. Теперь вместо деревянных винтовок нам выдавали настоящие — лёгкие карабины, пахнущие смазкой и металлом. Мы стреляли по мишеням на полигоне за лесом. Я попадал в «яблочко» чаще многих. Инструктор хвалил мою точность, но я не чувствовал гордости. Каждый выстрел отдавался в висках воспоминанием: крольчонок, мокрая трава, два хлопка.

Летом 1936 года в Берлине прошла Олимпиада. Нас, лучших учеников из Гитлерюгенда, отобрали для участия в церемонии открытия — мы должны были стоять живым щитом вдоль дороги, по которой проезжал фюрер. Я ехал в поезде, прижавшись к окну, и смотрел, как за стеклом проплывают поля и деревни. Рей сидел напротив, радостный, возбуждённый, перебирал свою новенькую форму. «Ты представляешь, Герман? Мы увидим фюрера! Вживую!» Берлин был как праздничный торт — разукрашенный, помпезный, с чёрно-красными флагами на каждом столбе. Мы стояли на Унтер-ден-Линден, солнце пекло головы, и я смотрел, как мимо едут машины с важными гостями. А потом появился он — в открытом лимузине, с поднятой рукой. Толпа взревела. Рядом со мной какой-то мужчина рыдал, выкрикивая «Хайль!». Я поднял руку — не потому, что хотел, а потому, что все подняли. Рей пнул меня: «Выше!». Я вытянул руку до боли в плече. В те дни я впервые услышал о Джесси Оуэнсе — чернокожем бегуне, который выиграл четыре золотые медали. Учителя говорили, что это позор для арийской расы,

что негры не должны соревноваться с немцами. Но я смотрел на его фотографии в газетах — он улыбался. Просто улыбался, стоя на пьедестале. И мне вдруг стало стыдно. Стыдно за то, что мы ненавидим человека только за цвет кожи. Рей, когда я попытался заговорить об этом, резко оборвал меня: «Не говори глупостей, Герман. Он недочеловек. Так сказал фюрер». Я замолчал. Но в ту ночь, в переполненном общежитии, я снова достал свой блокнот и написал: *«Почему улыбка чёрного человека стоит выше, чем тысячи наших знамён?»* Потом зачеркнул и вырвал лист.

Однажды вечером, после нескольких бессонных ночей, я стоял под ледяным душем, потому что горячую воду отключали после отбоя. Внезапно дверь открылась, и вошёл наш «староста» с двумя своими помощниками. Они схватили застывшего от неожиданности парня, стоявшего под соседней лейкой, и сунули его головой в унитаз. Это продолжалось недолго, но казалось вечностью. Я не мог пошевелиться. Я просто стоял, сжимая кулаки, и смотрел.

«Запомните, — сказал староста, когда они отпустили жертву, — слабость ведёт к позору. А позор смывается только кровью».

В ту ночь мне снился кошмар. Будто бы я стоял на том же месте, но вместо чужого лица в унитазе было лицо Раймунда. Я проснулся с криком и долго не мог уснуть, слушая, как где-то в коридоре гремит посуда — повара готовили завтрашнюю баланду. Мне хотелось верить, что этот сон ничего

не значит, что это просто игра воображения. Но в глубине души я знал, что уже никогда не смогу смотреть на Раймунда как раньше.

А потом случилось то, чего я не ждал. Одного из наших ребят, Франца, крепкого парня с вечно смеющимися глазами, задавило бревном на лесоповале. Мы были на практических занятиях — валили деревья для укрепления лагерных построек. Франц замешкался, кто-то закричал, но бревно уже соскользнуло с подпорок и придавило ему грудь. Он умер через несколько минут, захлебнувшись кровью. Рей побежал к нему первым, пытался оттащить бревно, но оно было слишком тяжёлым. Я стоял в стороне и смотрел на лицо Франца — серое, с открытыми глазами, в которых ещё теплился ужас. В тот вечер мы сидели в казарме, никто не разговаривал. Рей уткнулся лицом в ладони и беззвучно плакал. Я впервые видел его плачущим. — Ему было всего шестнадцать, — прошептал он. — Он хотел стать лётчиком. Я не знал, что сказать. Внутри меня разрастался холодный, липкий страх. Вот так просто — одно мгновение, и человека нет. Никакой «чистоты крови», ни «честь», ни «фюрера» — просто дерево, упавшее не туда. Ночью я лежал без сна и думал: «Если это случилось с Францем, то может случиться с Раймундом. Или со мной». Я сжимал в руке крестик, который когда-то носила мама, и шептал что-то бессвязное. Но небу было всё равно. Рей больше никогда не смеялся так, как раньше. А я понял, что страх смерти — это не трусость. Это про-

сто правда, которую мы прячем под формой и лозунгами.

В семнадцать лет я впервые увидел, как избивают еврея. Это было в Лейпциге, куда меня отпустили на два дня. Я возвращался из аптеки и наткнулся на переулок, где двое штурмовиков пинали бородатого старика в чёрном пальто. Он лежал на боку, закрыв голову руками, и не кричал. Вокруг стояли люди — кто отворачивался, кто смотрел с интересом. Я замер на углу. В голове билась одна мысль: заступиться. Но ноги не двигались. Тело вспомнило всё — руку отца на плече, его холодную улыбку, выстрелы.

— Ты же видел, что они с ним сделали, — сказал я Раймунду. — Он был врагом, — ответил он, не глядя мне в глаза. — Он был стариком, который просто шёл по улице. — Ты становишься слишком сентиментальным, Герман. Это слабость. — Если сочувствие к человеку — это слабость, тогда я лучше буду слабым. — Тогда ты не протянешь долго, — сказал Рей, и в его голосе впервые прозвучала не насмешка, а страх. — За кого ты боишься? За меня или за себя? — За нас обоих, — прошептал он.

Я развернулся и ушёл. Быстрым шагом, почти бегом, до самого общежития. Там я заперся в уборной и меня вырвало. Я смотрел на свою бледную физиономию в зеркало и не мог понять: кто я теперь? Тот, кто держал доски, пока горела синагога? Ещё нет. Это случится позже. Но я уже чувствовал, что приближаюсь к этому.

В тот же вечер я написал маме письмо. Сам сжёг. Потом

написал другое — о том, что учусь хорошо, что погода холодная, что скучаю. Я не написал главного: что я боюсь самого себя. Боюсь, что однажды во мне проснётся отец, и я перестану замечать, как мои руки делают зло.

Рей в те годы стал моей единственной ниточкой к нормальной жизни. Мы вместе ходили в кино — смотрели весёлые комедии с Хайнцем Рюманном, и Рей давился смехом, а я сидел с каменным лицом. После сеанса он спрашивал:

— Ты вообще умеешь радоваться, Герман?

— Не знаю, — честно ответил я.

Он замолчал на несколько шагов, а потом сказал:

— Я иногда думаю, что ты уже мёртвый. Снаружи — живой, а внутри — нет.

Я не обиделся. Он был прав.

В те годы мы много говорили по ночам. Я рассказывал Раймунду о книгах, которые мама присылала мне тайком — стихи, философию, даже древние эпосы. Однажды я прочитал ему отрывок из «Гильгамеша» — про то, как царь Урука боялся смерти и отправился на поиски бессмертия, а его друг Энкиду, дикий человек, стал ему братом. — Смешная история, — усмехнулся Рей. — Какой-то голый мужик в степи. — Это про нас, — сказал я. — Ты как Энкиду. Дикий, сильный, живой. А я — Гильгамеш, который боится умереть. Рей хлопнул меня по плечу: «Ты боишься умереть? Глупости. Мы — солдаты рейха. Умереть за фюрера — это честь». Я не ответил. Я думал о том, что Гильгамеш потерял Энкиду. И его

горе было таким сильным, что он скинул царские одежды и ушёл в степь, как зверь.— А ты бы горевал, если бы я умер? — вдруг спросил Рей.— Не говори так, — попросил я.— Да ладно, я же сильнее тебя. Меня не убьёшь. — Он рассмеялся, но я видел, как его глаза на секунду потемнели. Мы замолчали. За окном шумел лес, пахло хвоей. Я вдруг остро, до боли в груди, понял, что этот момент — с ним, здесь, сейчас — никогда не повторится. И что однажды я потеряю его. Не знаю как, не знаю когда, но потеряю. Как Гильгамеш потерял Энкиду. «Ты мой единственный настоящий друг, — сказал я. — Не умирай». «А ты не будь дураком», — ответил он и кинул в меня подушкой.

В 1938 году нацистская партия устроила в Лейпциге большой митинг. Нас, старшекурсников, обязали присутствовать. Площадь была залита красными знамёнами, из динамиков гремел голос фюрера. Толпа скандировала «Зиг хайль!». Рядом со мной какой-то мужчина в штатском плакал от восторга. Рей, стоявший по левую руку, тоже поднял руку в приветствии. Я стоял с опущенной рукой. Рей дёрнул меня за рукав:

— Подними! Ты что, с ума сошёл?

Я поднял. Но не прямо, а так, будто чешу затылок. Рей потом всю дорогу молчал.

А через несколько месяцев наступила та самая ночь. Та, о которой я не могу говорить без того, чтобы мои руки не начинали дрожать.

Учебный год прошёл не так быстро, как мне хотелось. Но я изменился. Внутри я ощущал, как росток неуверенности крепнет. С одной стороны, это помогало лучше скрывать мысли. С другой — я порой и сам не хотел их знать.

По приезду домой меня волновали две вещи: будет ли отец дома и окажется ли брат Карл — протеже отца. Но как только я переступил порог, в воздухе повеяло свободой. Мама с отчаянным порывом крепко прижала меня к себе — так, что стало трудно дышать. Она расцеловала мою белесую голову. Вслед за ней выбежала моя сестрёнка Агнес. Ей исполнилось шесть лет. Её детская, искренняя радость казалась самым дорогим лекарством.

На каникулах я понял, что больше никогда не захочу возвращаться в эту школу. Я хочу забыть все имена ребят, что учились со мной, забыть голоса учителей и навсегда сжечь эту чёртову свастику. Казалось, она была выжжена и в наших сердцах тоже.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.